



ПРИОТКРЫТАЯ ЗАВЕСА

ДЖОРДЖ ЭЛИОТ

Джордж Элиот

Приоткрытая завеса

<https://litres.ru/74360569>

SelfPub; 2026

Аннотация

Невольная способность читать мысли людей и видеть грядущее превращает жизнь Латимера в мучение. Единственным исключением оказывается насмешливая Берта, чей разум закрыт для его взора. Но можно ли довериться той, чьих истинных намерений ты не способен разгадать?

Мрачная викторианская новелла от классика английского реализма.

Содержание

Глава I	5
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Джордж Элиот

Приоткрытая завеса

Не дай мне, Небо, света, кроме пламени,
Что греет узы братства меж людьми;
Не дай мне сил превыше достояния,
Что полнит дух величием людским.

Глава I

Час моей кончины приближается. В последнее время я подвержен приступам *angina pectoris*¹; и при обычном течении вещей, как уверяет мой врач, я вправе надеяться, что жизнь моя не продлится дольше нескольких месяцев. Если только я не проклят исключительным физическим здоровьем, подобно тому как проклят исключительным складом ума, мне недолго осталось стенать под тягостным бременем земного бытия. Случись иначе — доведись мне дожить до возраста, к которому стремится и готовит себя большинство людей, — я узнал бы, могут ли муки обманутых надежд перевесить муки безошибочного предвидения. Ибо я наперед знаю, когда умру и что именно произойдет в мои последние мгновения.

Ровно через месяц с сегодняшнего дня, 20 сентября 1850 года, я буду сидеть в этом кресле, в этом кабинете, в десять часов вечера, жажда смерти, устав от непрестанной пронизательности и предвидения, лишенный иллюзий и надежды. В тот самый миг, когда я буду смотреть на язычок синего пламени, пляшущий в камине, а моя лампа начнет тускнеть, ужасная судорога скует мою грудь. Я успею лишь дотянуться до шнура сонетки и яростно дернуть его, прежде чем на-

¹ Грудная жаба, стенокардия (лат.).

хлынет удушье. Никто не придет на мой звонок. Я знаю почему. Двое моих слуг — любовники, и они поссорятся. Экономка в ярости выбежит из дому за два часа до того в надежде, что Перри решит, будто она пошла топиться. Перри наконец встревожится и бросится за ней. Маленькая посудомойка уснет на скамье: она никогда не подходит к звонку — он ее попросту не будит. Удушье усиливается; лампа гаснет с отвратительной гарью; собрав последние силы, я вновь хватаюсь за шнурок. Я жажду жизни, но помощи нет. Я жаждал неведомого — жажда прошла. О Господи, позволь мне остаться с привычным и пресытиться им: я покорен. Агония боли и удушья — а между тем земля, поля, каменистый ручей в низине под грачевником, свежесть омытой дождем листвы, утренний свет в окне спальни, тепло очага после морозной стужи... Неужели тьма сомкнется над ними навеки?

Тьма... тьма... никакой боли... ничего, кроме тьмы; но я двигаюсь все дальше и дальше сквозь эту тьму; моя мысль остается во мраке, но с неизменным ощущением движения вперед...

Прежде чем настанет этот час, я хочу использовать последние часы покоя и сил, чтобы поведать странную историю моей жизни. Я никогда не открывал душу ни единому смертному; меня никогда не побуждали уповать на сочувствие ближних. Но у каждого из нас есть надежда встретить хоть каплю жалости, нежности и снисхождения, когда мы умрем: ведь только живущих люди не в силах простить —

только живущим отказывают в снисхождении и почитании, точно дождю, гонимому суровым восточным ветром. Пока сердце бьется — уязвляйте его, это ваш единственный шанс; пока взор еще может обратиться к вам с кроткой, робкой мольбой — остудите его ледяным, невидящим взглядом; пока ухо, этот чуткий вестник святая святых души, способно внимать звукам доброты — отделайтесь сухой вежливостью, язвительным комплиментом или лицемерным равнодушием; пока мыслящий мозг еще пульсирует от чувства несправедливости и жажды братского признания — спешите, подавите его своими легковесными суждениями, пошлыми сравнениями и беспечной ложью. Вскоре сердце успокоится — *«ubi saeva indignatio ulterius cor lacerare nequit»*²; глаз перестанет молить; ухо оглохнет; мозг освободится от всех желаний, равно как и от всех трудов. Тогда-то ваши благочестивые речи найдут выход; тогда вы сможете вспомнить и пожалеть о труде, борьбе и неудаче; тогда воздадите должное свершенному; тогда найдете оправдание ошибкам и согласитесь предать их забвению.

Это избитая школьная истина; к чему я повторяю ее? Ко мне она имеет мало отношения, ибо я не оставляю после себя трудов, за которые меня могли бы чтить. У меня нет близких, которые слезами над моей могилой искупили бы раны, нанесенные мне при жизни. Лишь эта история, возможно,

² «Где жестокое негодование более не может терзать сердце» (лат., эпитафия Джонатана Свифта).

найдет у чужих людей чуть больше сочувствия после моей смерти, чем я когда-либо надеялся получить от друзей, куда был жив.

Быть может, детство кажется мне счастливее, чем оно было на самом деле, лишь по контрасту со всеми последующими годами. Ведь тогда завеса грядущего была для меня столь же непроницаема, как и для других детей; я разделял всю их радость текущего мгновения, их сладостные смутные надежды на завтрашний день; и у меня была нежная мать. Даже сейчас, по прошествии долгих унылых лет, едва уловимый след воспоминаний оживает при мысли о ее ласке, когда она держала меня на коленях — обнимая мое маленькое тельце и прижимаясь щекой к моей щеке. В детстве у меня была болезнь глаз, от которой я ненадолго ослеп, и она держала меня на коленях с утра до вечера. Эта несравненная любовь вскоре исчезла из моей жизни, и даже моему детскому сознанию показалось, будто мир вокруг стал холоднее. Я по-прежнему катался на своем белом пони рядом с конюхом, но уже не было любящих глаз, провожавших меня, не было распростертых объятий при возвращении. Быть может, я тосковал по материнской любви сильнее, чем большинство семи- или восьмилетних детей, для которых прочие радости жизни оставались неизменными, ибо я был необычайно чувствительным ребенком. Я до сих пор помню смесь трепета и упоительного восторга, которую вызывали во мне топот лоша-

дей по мостовой гулких конюшен, громкие голоса конюхов, раскатистый лай собак, когда карета отца с грохотом въезжала под арку двора, и гул гонга, созывавшего к завтраку и обеде. Мерный шаг солдат, который мне доводилось слышать — ведь дом отца стоял близ губернского городка с большими казармами, — заставлял меня рыдать и дрожать; и все же, когда они проходили, мне страстно хотелось, чтобы они вернулись.

Сдается мне, отец считал меня странным ребенком и не питал ко мне особой нежности, хотя усердно исполнял то, что считал родительским долгом. Но он был уже немолод, и я был не единственным его сыном. Моя мать была его второй женой, и ему было сорок пять, когда он женился на ней. Это был твердый, негибачаемый, до крайности педантичный человек — банкир до мозга костей, но с солидной примесью деятельного землевладельца, стремившегося к влиянию в графстве; из тех людей, что изо дня в день неизменны, не зависят от погоды и не ведают ни меланхолии, ни душевного подъема. Я благоговел перед ним и в его присутствии казался еще более робким и впечатлительным, чем обычно; это обстоятельство, вероятно, укрепило его в намерении воспитать меня не по тому общепринятому плану, коему он следовал со старшим братом, уже учившимся в Итоне. Мой брат должен был стать его представителем и преемником; ему надлежало пройти Итон и Оксфорд — разумеется, ради связей: мой отец был не из тех, кто недооценивает влияние латинских са-

тириков или греческих драматургов на достижение аристократического положения. Но по сути он питал мало почтения к «этим усопшим венценосным духам», составив о них собственное мнение, почитав Эсхила в переводе Поттера и полистав Горация в переводе Фрэнсиса. К этому отрицательному суждению он добавил положительное, почерпнутое из недавнего участия в горнорудных предприятиях: а именно, что научное образование — единственно полезная выучка для младшего сына. Более того, было очевидно, что застенчивый, нервный мальчик вроде меня не приспособлен к суровым нравам закрытой школы. Мистер Лезеролл высказался об этом весьма решительно. Мистер Лезеролл был грузным господином в очках; однажды он взял мою маленькую голову в свои широкие ладони и принялся ощупывать ее тут и там с видом знатока, сулившим немало открытий; затем прижал большие пальцы к моим вискам, слегка отодвинул меня и уставился сквозь сверкающие стекла. Осмотр, видимо, не принес ему удовлетворения, ибо он сурово нахмурился и сказал отцу, проводя пальцами по моим бровям:

— Изъян вот здесь, сэр — вот здесь; а тут, — добавил он, коснувшись висков и темени, — избыток. Первое надо пробудить, сэр, а второе — усыпить.

Я весь дрожал, отчасти от смутного чувства, что заслужил осуждение, отчасти от вспыхнувшей во мне первой ненависти — ненависти к этому рослому очкарику, который вертел мою голову так, словно приценивался к покупке на рынке.

Не знаю, насколько мистер Лезеролл повлиял на систему, примененную ко мне впоследствии, но вскоре стало ясно, что домашние наставники, естествознание, точные науки и новые языки станут теми средствами, с помощью которых надлежало исправить пороки моей натуры. Я ничего не смыслил в механизмах — поэтому меня заставляли возиться с ними; у меня не было памяти на классификации — поэтому мне вменили в обязанность штудировать зоологическую и ботаническую систематику; я жаждал человеческих деяний и душевных порывов — поэтому меня до отвала пичкали механикой, простыми веществами и явлениями электричества и магнетизма. Более крепкий мальчик наверняка извлек бы пользу из уроков толковых учителей с их научными приборами и счел бы феномены электричества и магнетизма столь же увлекательными, сколь увлекательными меня призывали их считать каждый четверг. На деле же я мог потягаться в невежестве по преподаваемым мне предметам с худшим латинистом, когда-либо выпущенным из классической гимназии. Тайком я зачитывался Плутархом, Шекспиром и «Дон Кихотом», питая ими свои блуждающие мысли, покуда гувернер внушал мне, что «человек просвещенный, в отличие от невежды, знает, почему вода течет под уклон». У меня не было ни малейшего желания становиться этим просвещенным человеком; мне было довольно бегущей воды; я мог часами наблюдать за ней, слушать ее журчание среди гальки и смотреть, как она оmyвает ярко-зеленые водоросли. Я

не желал знать, *почему* она течет; я был свято уверен, что для столь прекрасного явления непременно найдутся веские причины.

Незачем подробно останавливаться на этой поре моей жизни. Сказанного довольно, чтобы показать: моя натура принадлежала к числу чутких и непрактичных и формировалась в чуждой среде, которая ни в коей мере не способствовала ее счастливому и здоровому развитию. Когда мне исполнилось шестнадцать, меня отправили в Женеву завершать образование. Перемена эта стала для меня истинным благом: первый же вид Альп в лучах заходящего солнца, когда мы спускались с Юры, показался мне преддверием рая, и три года, проведенные там, прошли в непрестанном упоении, точно от глотка дивного вина, перед лицом Природы во всем ее грозном величии. Вы решите, быть может, что при столь ранней чуткости к Природе я непременно должен был стать поэтом. Увы, мой жребий не был столь завиден. Поэт изливает свою песнь и *верит* во внимающий слух и отзывчивое сердце, до коих его песнь рано или поздно долетит. Но восприимчивость поэта, лишенная его голоса — восприимчивость, находящая выход лишь в безмолвных слезах на залитом солнцем берегу, когда полуденный свет искрится на воде, или во внутреннем содрогании от резких звуков человеческой речи и холодного взгляда, — эта немая страсть обрекает душу на роковое одиночество среди людей. Менее всего одиноким я чувствовал себя в те часы, когда на закате

отплывал на лодке к середине озера; мне казалось, что небо, пылающие вершины гор и бескрайняя синяя гладь окружают меня ласковой любовью, какой не дарило мне ни одно человеческое лицо с тех пор, как угасла материнская нежность. Я поступал так, как делал Жан-Жак: ложился на дно лодки и позволял течению нести ее куда вздумается, глядя, как прощальный отблеск покидает одну вершину за другой, словно огненная колесница пророка проносилась над ними на пути в обитель света. Затем, когда белые пики становились печальными и мертвенно-бледными, я правил к берегу, так как находился под строгим присмотром и поздние прогулки мне запрещались. Подобный нрав не располагал к завязыванию близких знакомств среди многочисленных сверстников, всегда учившихся в Женеве. И все же я завел *одну* дружбу; и, как ни странно, с юношей, чьи умственные склонности были полной противоположностью моим. Я назову его Шарлем Менье; его подлинная фамилия — английская, так как он был английского происхождения, — с тех пор прогремела на весь мир. Это был сирота, живший на жалкие гроши, пока упорно постигал медицину, к которой питал редкое призвание. Удивительно! С моим рассеянным умом, впечатлительным и ненаблюдательным, ненавидевшим расспросы и предававшимся лишь созерцанию, я потянулся к юноше, чьей единственной страстью была наука. Но узы эти не были интеллектуальными; они произросли из того источника, что способен счастливо соединить ограниченность с блес-

ком, мечтательность с практичностью: они возникли из общности чувств. Шарль был беден и дурен собой, терпел насмешки женевских мальчишек и не имел успеха в гостиных. Я видел, что он одинок так же, как я, пусть и по иной причине, и, движимый сочувственным возмущением, сделал к нему робкий шаг навстречу. Достаточно сказать, что между нами возникло настолько тесное товарищество, насколько позволяли наши несхожие привычки; в редкие дни отдыха Шарля мы вместе поднимались на Салев или брали лодку до Веве, и я отрешенно внимал его монологам, в которых он раскрывал свои смелые замыслы будущих опытов и открытий. Я смутно перемешивал их в мыслях с проблесками синей воды, легкими облаками, птичьим щебетом и далеким блеском ледников. Он прекрасно знал, что мысли мои витают далеко, и все же любил говорить со мной; разве не делимся мы своими надеждами и планами даже с собаками и птицами, когда они привязаны к нам? Я упомянул об этой дружбе лишь по причине ее связи со странной и ужасной сценой, которую мне предстоит описать в дальнейшем.

Этой более счастливой жизни в Женеве положила конец тяжелая болезнь, оставшаяся в моей памяти отчасти белым пятном, отчасти чередой смутно помнящихся страданий, сквозь которые то и дело у моего изголовья возникал отец. Затем наступило вялое, монотонное выздоровление; мало-помалу дни наполнялись новизной и отчетливыми впечатлениями, по мере того как крепнущие силы позволяли

мне совершать все более долгие выезды. В один из таких памятных дней отец сказал мне, сидя у моего дивана:

— Когда ты достаточно окрепнешь для дороги, Латимер, я заберу тебя домой. Путешествие развлечет тебя и пойдет на пользу: мы поедем через Тироль и Австрию, и ты увидишь много новых мест. Наши соседи Филморы уже приехали; Альфред присоединится к нам в Базеле, и мы все вместе отправимся в Вену, а возвращаться будем через Прагу...

Отца позвали, прежде чем он закончил фразу, и моя мысль замерла на слове «*Прага*» со странным ощущением, будто передо мной распаивается новое, удивительное видение: залитый ярким солнцем город, и солнце это казалось полуденным светом давно минувшего века, застывшим на полпути, — века, столетиями не освежаемого ни ночной росой, ни грозовыми ливнями; оно нещадно палило пыльное, усталое, изъеденное временем величие народа, обреченного влачить дни в тусклом повторении воспоминаний, словно низложенные дряхлые монархи в истлевшей парче. Город казался столь иссушенным жаждой, что широкая река представлялась полосой раскаленного металла; а почерневшие статуи в старинных облачениях и венцах святых, под чьим невидящим взором я ступал по бесконечному мосту, казались мне истинными хозяевами и обитателями этого места, тогда как суетливые, ничтожные мужчины и женщины, сновавшие взад и вперед, были лишь роем досадливых мошек-однодневок. Именно такие мрачные каменные исполи-

ны, думалось мне, и породили этих блеклых старых детей в побуревших, источенных временем домах, теснящихся на круче передо мной; именно они несут свою службу в ветхой и крошащейся пышности дворца, протянувшегося по гребню холма; именно они уныло молятся в спертom воздухе церквей, не побуждаемые ни страхом, ни надеждой, но принужденные своей судьбой оставаться старыми и бессмертными, влачить дни в застывшей привычке, точно живут они в вечном полудне, не ведая ни покоя ночи, ни возрождения утра.

Оглушительный звон металла внезапно пронзил меня, и сознание вновь вернуло меня к предметам в моей комнате: это Пьер уронил каминные щипцы, открывая дверь, чтобы внести микстуру. Сердце мое бешено колотилось; я попросил Пьера оставить лекарство на столике, сказав, что приму его позже.

Оставшись один, я стал размышлять, не спал ли я. Был ли это сон — это поразительно отчетливое видение, явственное вплоть до мельчайших деталей, вплоть до радужного пятна света на мостовой от цветного фонаря в форме звезды, — незнакомого города, никогда прежде не возникавшего в моем воображении? Я никогда не видел изображений Праги: в моем сознании она жила лишь пустым именем со смутно припоминаемыми историческими ассоциациями — неясными воспоминаниями об имперском величии и религиозных войнах.

Ничего подобного прежде не случалось в моих сновиде-

ниях, так как я часто стыдился того, что мои сны спасались от бессвязности и банальности лишь благодаря частым кошмарам. Но я не мог поверить, что спал, так как отчетливо помнил, как видение постепенно овладевало мною — словно новые очертания в «туманных картинах» волшебного фонаря или проступающий пейзаж, когда солнце рассеивает утреннюю дымку. И в то самое время, пока зарождалось это видение, я ясно слышал, как Пьер вошел сказать отцу, что его ожидает мистер Филмор, и как отец поспешно вышел. Нет, это не был сон; неужели — мысль отозвалась во мне трепетным торжеством — неужели это поэтический дар, доселе бывший лишь смутной мучительной впечатлительностью, внезапно проявился как акт чистого творения? Не так ли Гомер узрел равнину Трои, Данте — обители усопших, а Мильтон — полет Искусителя к Земле? Быть может, болезнь произвела благотворный переворот в моем организме — придала упругость нервам, устранила некую тупую преграду? Я часто читал о подобных вещах — по крайней мере, в романах. Да и в подлинных жизнеописаниях встречал свидетельства об утончающем или возвышающем влиянии недугов на умственные силы. Разве Новалис не ощутил прилив вдохновения под гнетом чахотки?

Вдоволь упившись этой отрадной мыслью, я решил проверить ее усилием воли. Видение началось, когда отец заговорил о поездке в Прагу. Я ни на мгновение не допускал, что узрел настоящий город; я верил — я надеялся, — что

это картина, запечатленная в пылком порыве моим освобожденным гением красками, выхваченными из ленивой памяти. Что, если я сосредоточусь на другом месте — скажем, на Венеции, куда более знакомой моему воображению, чем Прага: быть может, последует тот же результат? Я сосредоточил мысли на Венеции; я подстегивал воображение поэтическими воспоминаниями и силился ощутить себя в Венеции так же живо, как ощутил в Праге. Но тщетно. Я лишь мысленно раскрашивал гравюры Каналетто, висевшие в моей старой спальне дома; образ двоился и ускользал, разум беспомощно блуждал в поисках более ярких мазков; я не мог вызвать ни единого случайного изгиба или тени без сознательного и тяжелого труда. Все это было прозаическим усилием, а не тем упоительным самозабвением, какое я испытал полчаса назад. Я пал духом, но утешился тем, что вдохновение капризно.

Несколько дней я пребывал в лихорадочном ожидании, надеясь на возвращение моего нового дара. Я блуждал мыслями по закоулкам своих познаний в надежде наткнуться на предмет, который вновь пробудит струны задремавшего гения. Но увы: мой внутренний мир оставался столь же тусклым, и эта вспышка дивного света не повторялась, сколь бы жадно я ее ни подстерегал.

Отец ежедневно сопровождал меня в поездках в экипаже и во все более долгих пеших прогулках по мере того, как крепили мои ноги; и однажды вечером он условился зайти

за мной ровно в полдень на следующий день, чтобы вместе выбрать музыкальную шкатулку и сделать другие покупки, строго обязательные для богатого англичанина, посещающего Женеву. Он был пунктуальнейшим из людей и банкиров, и я всегда нервно старался быть готовым минута в минуту. Но, к моему удивлению, в четверть первого он так и не появился. Я ощутил все нетерпение выздоравливающего, которому нечем заняться и который только что принял укрепляющее средство в расчете на скорую прогулку.

Не в силах усидеть на месте и сберечь силы, я мерил шагами комнату, глядя на течение Роны у самого ее истока из темно-синего озера и непрестанно гадая о причинах, задержавших отца.

Внезапно я почувствовал, что отец в комнате, и не один: с ним было двое. Удивительно! Я не слышал шагов, не видел, как отворилась дверь; но я видел отца, а по правую руку от него — нашу соседку миссис Филмор, которую я отлично помнил, хоть и не видел лет пять. Это была заурядная дама средних лет в шелках и кашемире; но даме по левую руку от отца было не более двадцати — высокая, гибкая, стройная фигура с роскошными белокурыми волосами, уложенными в искусные косы и локоны, казавшиеся слишком тяжелыми для столь хрупкого стана и тонкогубого лица с мелкими чертами. Лицо это не хранило девического выражения: черты были острыми, а бледные серые глаза — одновременно пронизательными, беспокойными и саркастичными. Они

установились на меня с полунасмешливым любопытством, и я ощутил болезненный укол, точно от ледяного ветра. Бледно-зеленое платье и зеленые листья, венком обрамлявшие ее светлые волосы, заставили меня вспомнить о русалке — ундине из немецких баллад, которыми была полна моя голова, эта блеклая женщина с роковыми глазами, обвитая зеленой тиной, походила на порождение холодного илистого ручья, дочь седого речного бога.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.